

Елена Мевченко

Прекрасная лучница

Амалия Ивановна, миловидная женщина лет пятидесяти пяти, была натурой противоречивой. Одно её «Я», трезвое и основательное, любило стабильность и порядок в делах, другое, безалаберно-романтическое, – на всякий порядок плевать хотело и всё рвалось невесть куда, томило и даже на склоне лет не давало Амалии Ивановне заслуженного покоя. Эта раздвоенность её природы была так глубока, что обрела анатомическое соответствие: у Амалии Ивановны были узкие плечики и девчоночий 44-й, но осиная талия неожиданно переходила в широкие бёдра, покоившиеся на массивных ногах. Худобой своей Амалия Ивановна гордилась, а полноту недолюбливала и прятала её в длинные причудливые юбки со шлейфами, хлястиком и закручивающимся спиральями. Тяжеловесность она унаследовала от отца, Ивана Николаевича, который родом был из крестьян, но благодаря хваткости и сметливости быстро освоился в городе и

выбился в большие начальники. А матери, хрупкой мечтательной Ирине Львовне, Амалия Ивановна обязана была своим первым любимым «Я», бестолково устремлённым вверх, в чалое городское небо. Всю свою безнадежную сладкую тоску вложила Ирина Львовна в красивый анахронизм дочернего имени, чтобы ежечасно, ежеминутно возносилось оно над тяжёлой бычьей головой Ивана Николаевича, над его кряжистой фигурой, над их справным, добротным домом.

Теперь, когда родителей не стало, жила Амалия Ивановна одна, работала бухгалтером на заводе, где славилась чрезвычайной пунктуальностью и аккуратностью. По ней сверяли часы, калькуляторы в её присутствии пылились без надобности, а отчёты её главбух давно перестал перепроверять – напротив, нетнет, да просил «подчистить документик» перед ответственной проверкой.

Зато дома у Амалии Ивановны безраздельно властвовал беспорядок.

Шипчики для ногтей обнаруживались рядом с кофеваркой, книги валялись на стиральной машине, а весь гардероб хозяйки живописными кучками покоился на креслах, столах и диванах. Переступая порог своего дома, Амалия Ивановна сбрасывала личину строгой бухгалтерши, надевала экзотический халат с яркими японскими цветами и выпускала на свет божий себя другую, – лёгкую, безответственную и чудаковатую. Она любила рисовать, особенно акварелью, потому что акварельным людям, собакам и деревьям легче леталось, они были цветисты, призрачны и почти бесплотны, им неведома была боль от вечного раздора, когда часть тебя тоненьким вектором нацелена в небо, а другая крепко упирается в землю широкими крестьянскими ступнями.

В юности была Амалия очень хорошенькой, и плавная линия широковатых бёдер не то что не портила её, а напротив, придавала особое женственное очарование. Была у неё когда-то и большая любовь. Звали его Джеффри, – собственно, был он Димой, но на курсах английского, где они познакомились, требовалось полное вживание в предлагаемые обстоятельства. Так превратились они на время в Робертов, Сэмов, Мэри, Хелен, в Джеффри и Джейн. Когда курсы закончились и Амалии разрешили назвать своё настоящее имя, Джеффри долго хохотал и наконец решительно заявил: «Нет, я буду звать тебя Ли». С тех пор Амалия-Джейн стала девочкой Ли, а Джеффри так и остался Джеффри, студентом из Оксфорда, – уж очень шла ему его обжитая легенда. Чужой язык давал чудесную свободу, когда допускалась любая глупость и нежность, и пользовались они этой новой свободой расточительно и безоглядно.

Джеффри был высок и тонок. Каждая прядка его длинных волос распадалась на три цвета – рыжий, золотистый и пепельный, отчего голова его походила на непоседливое светоносное облако, подпрыгивающее и пританцовывающее на тёплом ветру. У Джеф-

фри было две страсти – велосипед и БГ. Среди равномастных городских звуков Амалия безошибочно различала мягкое подкрадывающееся шипение шин, вслед за которым из темноты летнего вечера или из клубящейся зелени дворовых акаций выныривала его узкая фигура, вросшая в тело гоночного велосипеда.

Бегая по крутым валам, нависшим над меленькой городской речкой, они пели своего любимого БГ – «Стоя на красивом холме», а Джеффри, запрокинув лохматую голову, до хрипоты кричал куда-то ввысь: «It's me! It's my soul!» Амалия любила вставать на самый краешек холма, перегибаться назад, и Джеффри, осторожно поддерживая её за спину, начинал медленно раскачивать из стороны в сторону, и чёрное июльское небо срывалось с места и пускалось в тяжёлое ритмичное кружение, и уже непонятно было, где воздух становится водой, а земля – небом, и казалось, что жизнь добралась до собственной сердцевины, до своего сокровенного смысла, и не будет и не может быть конца этому безудержному лёту. А потом гроза, сначала потрескивавшая вдали, накрывала их пронзительным ливнем, и они визжа неслись в город, прыгали в первый попавшийся трамвай, и Джеффри, как на брусьях, повисал на перилах пустого вагона, а она вставляла на цыпочки и целовала его в худую ключицу.

Но постепенно вкрадчивое шипение колёс всё реже слышалось во дворе Амалии, всё реже раздавалось в трубке знакомое «Хэлло, Ли! How are you!», за которым теперь следовали туманные, сбивчивые объяснения и короткие гудки. А потом Джеффри и вовсе исчез, и лишь спустя годы Амалия узнала, что он женился на красивой, очень худенькой англичанке и теперь живёт в Лондоне. Боль к тому времени притупилась, став хронически-беспредметной. Амалия мысленно произнесла: «Что ж, прощай, Джеффри! God bless you!» и навсегда перевернула эту страницу. Правда, долго ещё не могла она слышать

БГ и шелест велосипедных шин, но и это прошло. БГ облегчил ей задачу, из романтического мальчика превратившись в стареющего сатира, а велосипеды на фоне растущего автомобильного безумия как-то вытеснились из жизни, а вместе с тем и из памяти Амалии.

Мужским вниманием Амалия Ивановна обделена не была. На её счету было немало романов – бурных, но всегда скоротечных. С заводскими технарями она быстро начинала скучать, между длинноволосыми поэтического вида мальчиками и ею давным-давно пролегла непроходимая пропасть шириною в несколько поколений, так что замуж Амалия Ивановна так и не вышла, да и вообще махнула на эту сторону жизни рукой и с удвоенной страстью занялась рисованием. Жила она странно – супов не варила, картошки не жарила, а питалась изящными маленькими пирожными, воздушными печеньями и горьким шоколадом, запивая их из фарфоровой чашки дорогим чёрным кофе. Верхняя часть её тела на сладости не откликалась, зато нижняя грузнела на глазах. Амалия Ивановна вздыхала, рассматривая себя в зеркале, расстраивалась, но менять больше ничего не хотела, – много ли осталось.

В это утро она проснулась с необычным чувством. Воздух, врывавшийся сквозь раскрытое окно, после ночного дождя был особенно вкусным и свежим. Солнце бережно касалось разбросанных по комнате вещей, а взятый на работе отгул обещал свободу и неспешность. Амалия Ивановна сварила кофе и долго пила его смакующими маленькими глотками. С приятной ленцой она раздумывала, чем бы сегодня заняться – поваляться с книгой, порисовать или прогуляться по старому городу. Дома в такую погоду сидеть не хотелось, и она выбрала прогулку. Сойдя с крыльца, Амалия Ивановна медленными праздными шагами пересекла двор и направилась к троллейбусной остановке. Она вспомнила, как в детстве дедушка вёл её тем же путём, как они садились в

троллейбус и ехали к Чёрному озеру, считая по дороге запряжённых в повозки лошадей, и как радовалась она, как визжала и прыгала, поставив очередной рекорд – насчитав их 10 или 15. А потом они кормили на озере лебедей – чёрного и белого, – кормили сладкой глянцевой булочкой по 9 копеек, а дальше воспоминание терялось где-то в глубине парка и на чугунных, украшенных царскими орлами ступенях Пассажа, куда ходили пить чай к дальним дедушкиным родственникам. Эту часть города Амалия Ивановна особенно любила и часто гуляла здесь, присматриваясь к старым, отживавшим своё особнякам, к резным деревянным террасам, на которых когда-то, должно быть, пили по вечерам чай уставшие за день люди и любовались закатным солнцем над маленькой городской речкой. Вот и сейчас Амалия Ивановна не торопясь обходила улочки, но не обнаруживала многих своих знакомцев. На месте их стояли новые дома, нарядные и молодцеватые, с неотличимыми друг от друга фасадами. Амалия Ивановна с грустью свернула в переулок, рассеянно взглянула на витрину маленького антикварного магазина и неожиданно остановилась. В первую минуту она не сообразила, что же привлекло её внимание. Но затем подошла поближе, всматриваясь в небольшую мраморную статуэтку, выставленную в запылённом окне витрины. «Прекрасная лучница» – прочитала она на засиженном мухами ценнике. Перед Амалией Ивановной стояла фигурка коренастой обнажённой женщины, держащей в руках лук и нацелившей в небо невидимую, давно отломанную кем-то стрелу. Поначалу лучница показалась Амалии Ивановне уродливой, и она никак не могла взять в толк, что же прекрасного нашёл скульптор в этой неуклюжей медведеподобной бабе. Она брезгливо рассматривала её мощный торс, мускулистые ягодички, крепкие мужские ноги. Но чем пристальнее вглядывалась Амалия Ивановна в мраморную фигуру, тем больше завораживала её непостижимая, не

сразу открывавшаяся глазу грация движения, собранность и нацеленность каждой мышцы на единое действие, бьющее по нервам напряжение перед прыжком, перед взлётом, – и неважно, что опавшее, осиротевшее тело так никогда и не оторвётся от земли, – пущенная стрела стремительно набирает высоту, она – продолжение руки, вместилище любви и желания, сердцевина и смысл бытия прекрасной лучницы, прямой и непреложный вектор в небо. Амалия Ивановна стояла и плакала, всё поняв про себя, в одночасье приняв и полюбив своё странное тело и странную жизнь. И не заметила, как накрыл её пронзительный ливень, и, промокшая, вскочив в первый попавшийся трамвай, она снова плакала и шёпотом

повторяла «It's me! It's my soul!». А когда добралась до дома, то как сомнамбула бродила по комнатам и не удивилась ночному звонку и голосу, с убийственной лёгкостью перелетевшему через немереные километры и целую жизнь: «Хэлло, Ли! How are you?»

А наутро соседка, не постучавшись, открыла незапертую дверь и ахнула. Амалия Ивановна лежала на полу рядом с телефонной трубкой, заходившейся короткими гудками. Она лежала на спине, вытянувшись, и казалась прямой, тоненькой стрелкой, устремлённой в квадратный проём окна, и туда же смотрели остановившиеся улыбающиеся глаза, будто настигшие, наконец, давно искомую, ей одной ведомую цель в высоком июльском небе.

